

ВИКТОР

ДРАГУНСКИЙ

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

СЕГОДНЯ

И

ЕЖЕДНЕВНО

НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ

Предметы культа

Виктор Драгунский

**Сегодня и ежедневно.
Недетские рассказы**

«Издательство АСТ»

1961, 1964

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Драгунский В. Ю.

Сегодня и ежедневно. Недетские рассказы / В. Ю. Драгунский —
«Издательство АСТ», 1961, 1964 — (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-157555-7

Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972) — писатель и драматург, театральный, кино- и цирковой актер, создатель эстрадного театра миниатюр «Синяя птичка» и автор знаменитых «Денискиных рассказов». В эту книгу вошла избранная «взрослая» проза Виктора Драгунского: повести «Сегодня и ежедневно» и «Он упал на траву...», лучшие рассказы и фельетоны, а также воспоминания об учителе, актере Алексее Диком.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-157555-7

© Драгунский В. Ю., 1961, 1964
© Издательство АСТ, 1961, 1964

Содержание

О любви – от первого лица	6
Он упал на траву...	8
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Виктор Драгунский

Сегодня и ежедневно

© Драгунский В. Ю., наследники

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

О любви – от первого лица

Виктор Юзефович Драгунский родился в 1913 году, в Нью-Йорке, куда уехали в поисках лучшей жизни его совсем юные отец и мать. Жизнь в Америке, однако, у них не задалась, поэтому они вернулись назад, в город Гомель, с полугодовалым сыном подмышкой – летом 1914 года, за несколько недель до начала Первой мировой войны. Юзеф, отец Виктора, был расстрелян в 1918 году, отчим – начальник гомельской милиции комбриг Ипполит Войцехович – убит в 1920-м, а второй отчим – опереточный актер Михаил Рубин – не вернулся с гастролей, то есть молча бросил семью в 1926-м. Виктор жил с матерью и маленьким братом в просторной, но полутемной комнате, в огромной коммуналке – там же, где потом свои первые годы прожил и я.

Он окончил школу, недолго работал на старом заводе «Самоточка», мастерил конскую сбрую на ипподроме, летом был лодочником на Москве-реке, которая тогда – до строительства канала Москва – Волга – была не такой широкой. В 1931 году – семнадцати лет – он поступил в Театрально-литературную мастерскую Алексея Дикого (воспоминания о мастере и учениках вы найдете в этой книге). Потом был короткий театральный опыт, война, потом работа клоуном в цирке, снова театр, единственная эпизодическая роль в кино, песни (большая часть – в соавторстве с Людмилой Давидович) – и, наконец, в самом конце 1940-х – эстрадный театр миниатюр «Синяя птичка», где он был основателем, режиссером, актером и автором.

Вот здесь и начался писатель Драгунский – с эстрадных скетчей, реприз и сценок, их было много, попадались очень смешные и изобретательные, особенно те, в которых он играл сам. Некоторые тексты тех времен вошли в эту книгу.

В 1960 году в серии «Библиотека “Крокодила”» вышла первая книжка Виктора Драгунского – тоненькая, почти брошюра – «Железный характер». Там, кроме фельетонов о бюрократах и спекулянтах, сплетниках и модниках, впервые появились «Денискины рассказы», в количестве восьми штук.

Детские рассказы принесли Виктору Драгунскому сначала популярность, а потом и настоящую славу – бесконечные переиздания, переводы, экранизации, инсценировки, радиопостановки...

Несмотря на это, «взрослая проза» осталась важной частью его литературной судьбы. На первый взгляд может показаться, что его «взрослые» рассказы и повести разительно отличаются от «детских». Смех, веселье, хохот, беззаботная детская радость – приключения Дениски Кораблева и его друзей. Война, голод, одиночество, разочарование, большие и малые драмы – повести «Он упал на траву», «Сегодня и ежедневно», рассказы «Старухи», «Далекая Шура», «Странное пятно на потолке». Если же мы приглядимся, вчитаемся внимательно, то увидим, что детская и взрослая проза Драгунского не так уж сильно различаются. И дело не только в том, что в «Денискиных рассказах» есть лирика и грусть, а в повестях встречаются смешные эпизоды. Что же касается, например, рассказа «Письмо», то не сразу понятно, что это: хохот над старым дураком, который пишет жалобу на свою молодую жену, употребляя нелепые канцелярские обороты, – или слезы над несчастной безответной любовью? Дело даже не в том, что все его рассказы и повести основаны на личном опыте, в них видны куски биографии автора, и почти у всех персонажей есть реальные прототипы.

Самое главное – в интонации, в искренности, которая утверждается повествованием от первого лица. С читателем говорят школьник Дениска Кораблёв, театральный маляр Митя Королёв (может быть, совпадение тут не совсем случайно – ДК и ДК?), клоун Николай Ветров.

О чем пишет Виктор Драгунский? Прежде всего о любви.

Вот повесть «Он упал на траву...», посвященная трагедии Московского народного ополчения в 1941 году. Главный герой и рассказчик Митя Королёв (как и сам Драгунский), по

болезни освобожденный от призыва на фронт, вместе с такими же белобилетниками, полуинвалидами, стариками рыл окопы под Можайском и потом лесами выходил из окружения, потеряв под обстрелом своего нового друга, чудесного рабочего парня Лёшку (наверное, здесь прячется воспоминание о его брате Леониде Драгунском, который в 18 лет погиб на фронте). Но эта маленькая книга – не о войне как таковой. Повесть начинается с того, что Митя Королёв – к его собственному удивлению – ощущает себя радостным и счастливым. Как же так? По радио тревожные сводки, бесконечное «отступили», «оставили», «отошли», немцы рвутся к Москве, бомбят Москву. А он – счастлив! Потому что как раз в эти дни у него начались первые в его юной жизни отношения с женщиной. Роман, да какой! Он, хромоногий театральный маляр-декоратор, и она – актриса, красавица, премьерша! Он настолько полон этим чувством, что даже как бы и не замечает войну, и на рытье окопов он тоже думает только о ней. Потом она его бросает – странно сказать, именно из-за его любви. Наивный Митя пишет ей письмо, полное восторга и страсти, – а она ждет «настоящего письма с фронта», чтоб там были отвага и патриотизм. «Письмо – это документ, братец...» – говорит она перед окончательной разлукой.

«Сегодня и ежедневно» – тоже кусок биографии автора; Драгунский ведь побывал цирковым клоуном. Герои этой повести – от знаменитого дрессировщика до юной гимнастки – узнаваемы для знатоков цирка, там много интересных фактов и черточек цирковой жизни, закулисной, не видной зрителям – но опять же не в том дело. Эта повесть не о цирке, а о несчастной любви. Клоун Николай Ветров возвращается в Москву с гастролей и узнаёт, что его давняя подруга ему изменила; потом он встречает прекрасную молодую артистку, влюбляется в нее издали, робко и тайно (жена товарища все-таки!), – а она гибнет во время репетиции. Опустошенный двумя утратами, он снова уезжает из Москвы. «А собачка дальше полетела!» – этими словами старинной цирковой репризы заканчивается повесть.

Виктор Драгунский прожил недлинную жизнь (1913–1972), а его писательская биография была совсем короткая, не более десяти лет, потому что года за два до смерти он тяжело заболел и почти перестал работать. Если собрать все сочинения Драгунского, включая песни и эстрадные репризы, то получится один не слишком толстый том. Знаменитые «Денискины рассказы» почти заслонили его прекрасную прозу для взрослых, но, уверен, читатели оценят и ее.

*Денис Драгунский,
апрель 2023*

Он упал на траву...

1

Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу, и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места – в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, – они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, – как там дальше? Ах да – грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!» – и после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрестке, в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от нее уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятьсот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она должна была отсутствовать. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

– Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

– Понимаешь, Зойка, – сказала она, – ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

Какая, к черту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:

– Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась.

– Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

– Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:

– Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.

– Ох, – сказал кто-то, – чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

– Извините, – и хотел было уйти.

Но она сказала:

– Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

– Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие, и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка. Она сказала:

– Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

– Нет.

– Да мы же рядом живем, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети... А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

– Так что я все про вас знаю, Митя Королёв. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.

Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем – противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой как окающие, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

– Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

– Это не ваше дело.

Она вздохнула.

– Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.

– Это, наверно, горько и обидно – звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?

– Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

– Может, мне отстать от вас?

– Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

– Это не дело – прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал. Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

– Вот я здесь живу.

Я сказал:

– Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку.

– Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

– Ну вот. Пока.

Но она сказала:

– Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки – я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:

– Хотите есть?

– Нет, – сказал я.

– Надо поесть, – сказала она и показала на свертки. – Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь – совсем ведь рядом.

Я сказал:

– Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец – было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестренку с девчонскими повадками и серьезным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.

Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валею, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

– Давайте выпьем!

– Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе.

– В общем, – и она подняла рюмку, – в общем, я пью за то, чтоб вы были счастливы.

Я сказал:

– Спасибо.

И увидел, что она никак не может решиться выпить.

– А вы в общем-то пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой.

– Честно?

– Да.

– Это в первый раз.

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятой девчушки. Я сказал:

– Если в первый раз – лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыханье, слезы побегут.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

– Ну хорошо, – сказала она, – я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

– Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

– Ну, а как меня зовут – тоже неинтересно?

– Абсолютно, – сказал я. – Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда – я сам ее выпью...

– Нет, – сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, – нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

– Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у нее шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

– Слушайте, – сказал я, – только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне, наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

– Меня зовут Лина...

Я сказал:

– Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

– Тяпнем! – сказала она.

Она довольно мужественно глотнула и стала закусывать с таким обыкновенным видом, как будто делала это на дню три раза. У нее такая была напряженная мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная – ну, сестренка, просто сестренка моя, которой нет.

Я сказал:

– Вы домой шли, Лина. Вас, наверно, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.

– А... была не была!

– Отчаянная, да? – сказал я. – Сорвиголова?

– Оторви да брось, – сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких, как орешки.

Я налил ей совсем немного, чуть покрыв донышко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную девочку, она была просто прелесть и такая забавная – сказать нельзя.

– Вот, – сказал я, – спивайтесь, заблудшая душа.

И тут она меня удивила. Она скинула туфельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку.

– Я пью за самое большое в нашей жизни, – сказала Лина, и ее милое юное лицо стало торжественным и важным. Она трезво и строго посмотрела на меня. – Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она все еще стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошел к ней, взял ее за талию и опустил на пол. Она все смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение ее губ. Как будто меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июльскому росному лугу босиком, и где-то за зеленым лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьется ее сердце, и вдыхал запах ее волос, ее платья, всего ее милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность, и кровь гудела во мне, шумела и билась. А Лина все глядела на меня, потом словно устала и закрыла глаза. В это время завывала сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.

– Тревога, – шептала она. – Боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у нее дрожали, у бедняжки, – так испугалась. И все это росистое утро на цветущем лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощенное страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Ее недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звезды. Лина сказала:

– Я тетю возьму. Отведу в метро, она больная.

Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали ее туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.

2

А я помчался по черной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал еще несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и теплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда еще в «те баснословные» года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружествен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша – дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке – мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую тощенькую фигурку дяди Гриши, замасленную его кепочку с умильной пуговкой и хитроватые, круглые сорочки глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твердый палец, ткнул им в небо и сказал:

– Подходит...

Я уже давно слышал этот накатный злой звук и тоже уставился в небо. Прожекторы наши метались по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка еще не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте, как мне показалось, где-то за Самотёкой, а то и за Марьиной Рощей, прожекторы вдруг сбежались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в центре своего соприкосновения как бы маленький молочно-голубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле, как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.

– Схватили, – сказал он и всхлипнул. – Повели!

Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня, но дядя Гриша точно уставил свой маленький твердый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпускал его и все приговаривал:

– Вот он, фриц, вот он, гляди же, раззява!

Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя лег на крыло, неожиданно круто дернулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой черный коптящий след. Прожекторы провожали его за небосклон до земного предела, зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отлучения, повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил ее пополам.

– На, – сказал дядя Гриша, – покушай хлебца.

Я взял хлеб и стал жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял свое несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришел мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и, когда увидели меня, сразу согласно зачиркали карандашами. Один из них сказал:

– Негоден.

И все неторопливо покивали головами. Я тогда пошел домой не слишком огорченный. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст мне делать самое нужное дело – бить врага. Я тогда увлекся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привел меня за кулисы, дал мне краски, кисти, научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорила меня, поглотил меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешевого одеколона. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскаленных ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писанных задников, картонных замков, фанерных Бастилий, слюдяных речек и электрических звезд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У нее были прекрасные тонкие руки, и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что ухожу в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала – я поверил. И как она спокойно предала меня сегодня. Как это у нее просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно...

– ...Второй заходит, – сказал дядя Гриша.

В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.

И вдруг в воздухе что-то завывало, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколебался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаюсь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч все несея надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало все дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног уперлись в водосточный желоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и кричал, но огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь, как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.

– В шестьдесят восьмой угодило, – сказал дядя Гриша, высовываясь из-за люка. – Разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?

Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:

– Подтяни чуть-чуть!

И дядя Гриша втащил меня.

– Мог слететь, – сказал он, – и очень просто.

Мы опять сидели с ним рядом, уже светлело, и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.

– Везучие мы с тобой, – весело сказал дядя Гриша. – Ей-богу везучие. Ведь это фугаска, полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.

Я сказал:

– Я пойду туда.

Но дядя Гриша не пустил меня.

– Мы на посту, парень, – сказал он. – Дай дожидаться отбоя. Еще не вечер.

Но все-таки это был конец. Наступал рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов пожарной команды. Долетали какие-то крики – видимо, начинались спасательные работы.

Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.

Так прошло еще с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины «скорой помощи» стояли с открытыми дверями и включенными моторами. Отдельно стоял большой черный фургон. Под ногами хрустело битое стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и легкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитара пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Лениной ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой черный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись уже без нее. Фургон никуда не уехал.

Я повернулся и пошел домой.

3

Я вошел в маленькую, обитую темной жостью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своем месте. Он не оглянулся, когда я вошел, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами, защитного цвета ватник:

– Прикинь.

Я надел ватник прямо на пиджак, он был мне чуть широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжелые, как утюги.

– Примерь, – сказал Борис Филиппыч.

Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты, но я не обратил на это внимания и надел их без портянок, прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул под стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу – это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в нее пальцем.

– Распишись. – Он посмотрел на меня и побарабанил пальцами по столу. Потом сказал: – Ну, будь.

Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат голландские сабо. Добротные были сапоги, громоздкие, как рояли.

Волоча их по пустынному фойе театра, я прошел на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие еще не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но все равно я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придет Валя. Слишком мне это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на нее ставку – молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжелых сапогах до дома, чтобы собирать вещевой мешок, но там на столе стояла недопитая Линой рюмка и одиноко торчал в стене гвоздик, на который она вешала плащ.

Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. Он подошел ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, поправляя роговые очки:

– Вот чертова жара, пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идет.

Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьезными, он поправил очки и невесело добавил:

– Фриц прет как скаженный, а нам понадобились интимные песенки. Пошли – полюбуемся?

Я сказал:

– Не хочется.

Федька близоруко сощурился и спросил:

– Ты чего это в ватник нарядился, как Чайльд-Гарольд? И при сапогах?

– Я в пять часов уезжаю.

– Куда?

– В ополчение.

– Так, – сказал Федька.

Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.

– Слушай, – сказал Федька, – у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.

У меня словно камень с души свалился. Я сказал:

– Ну что ж, пошли...

И я пошел с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шел с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.

Мы пошли с ним по улице Горького, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. Потом мы перешли через мост, походили по Болоту и – снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зеленой травы на спуске у Большого дворца было так много, и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее. Мы перешли еще один мост и пошли Александровским садом обратно к улице Горького. Она была красива и широка, и нам, москвичам, все еще трудно было привыкнуть к новым ее масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по улице Горького, прошли телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но когда дошли до Елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:

– А может быть, выпьем?

– После, – ответил я, – ближе к отъезду.

– Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят, – сказал Федька. – Никогда не откладывая такие дела. Увидимся ли...

Мы вошли с ним в ресторан, где директором был знаменитый Борода, седой, красивый, веселый человек. В этом ресторане питались почти все артисты Москвы да и вообще театральный народ. Я был здесь несколько раз с Федькой, бывал и с Валей.

В дверях нас встретил бритоголовый, с красным склеротическим лицом официант Лебедев.

Он сразу признал меня и показал глазами на свой столик. Этот старик служил здесь испокон веку, всю свою жизнь, и мне было приятно, что вот он, видите ли, узнал меня. Мы сели за столик, Федька хрюкнул и поправил очки.

– Дайте нам водки, – сказал он деловито.

– В такую-то жару? – усомнился Лебедев. – Может, пивка?

– Не надо нас воспитывать, – отрезал Федька. – Мы уже большие. Мы уже ополченцы. Сегодня уходим. Последний нонешний денечек. Видите, мы в ватнике! Когда еще достанется? Потом будешь вспоминать – слезами обольешься. Да и увидимся ли...

Мы выпили, поговорили с Федькой о театральных делах, и Федька налил по второй.

– Не стоит, – сказал я.

– После слезами обольешься, – строго сказал Федька, – надо выпить, куме, тут, на том свете не дадут!

Мы выпили еще.

– Не удовлетворяют меня театральные формы, – объявил Федька, – обветшали! Честное слово! Все стригутся под Станиславского. А надо, брат, работать! Понял? Надо искать! Где? В формах, вот где. Формализм – великая вещь, если им правильно пользоваться. Да-да. Давай, слушай, пей, не задерживай.

– Неохота, тебе говорят, – сказал я.

– Если ты уверен, что мы увидимся с тобой, друже, – сказал Федька, – тогда не надо...

А если не уверен...

Мы выпили. Федька откинулся на спинку стула.

– Ты бы хоть рассказал, что такое твой формализм? Как ты его понимаешь? – спросил я.

Федька копался в своей тарелке, придирчиво рассматривая каждую капустинку сквозь очки.

– Формализм, брат, я понимаю как формальное отношение к форме и формалистам!

Он захохотал и стал устанавливать тарелку на горлышко графина.

– Я, – сказал он надменно, – ищу новые формы! Довольно бриться под МХАТ! Что когда-то было прогрессивным, может сегодня оказаться глубоко реакционным. Ты об этом думал?

Он взялся за графин:

– Вот мы сейчас выпьем за то, чтобы нам увидаться! За чудную нашу землю минус фашизм! Давай!

Тарелка, конечно, вырвалась все-таки из его толстых пальцев, упала и разбилась.

Лебедев стал собирать осколки.

– Это к счастью, – сказал Федька и полез под стол помогать Лебедеву.

Я наклонился к нему и тоже помогал.

– Значит, ты, Митька, вернешься в полном порядке, – сказал Федька под столом и вылез оттуда, пыхтя и отдуваясь, – это к счастью, уверяю вас. Лебедев, голубчик, принесите нам еще водки.

– Дудки, – сказал Лебедев, – вы уже.

– Что – уже? – удивился Федька. – Лебедев, поймите, мы провожаем его в ополчение. Ведь он у нас ребенок. Он, может быть, там заболеет или что-нибудь еще. Ведь его же жалко? Лебедев, у вас есть дети?

– Две персоны, – сказал Лебедев.

– Девочки?

– Мальчики.

– Большие?

– Одному сорок два, другому тридцать восемь.

– Вот видите, – сказал Федька, – принесите выпить.

– Все, – твердо сказал Лебедев, – разрешите получить. После благодарить будете.

Я сказал:

– Пошли, Федька, собираться надо.

Я заплатил Лебедеву деньги и дал ему пять рублей на чай. Когда я встал, Лебедев тронул меня за плечо.

– Увидимся, – сказал он, – крепко надеюсь!

4

Мы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня все было по-прежнему неприбрано. Линина недопитая рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера ее плащ, торчал на своем месте.

– Плохо у тебя, – сказал Федька. – Это чья рюмка?

– Не тронь, – сказал я.

Федька отдернул руку.

– Дамы? – сказал он. – Красотки кабаре?

– Она уже умерла, – сказал я.

Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.

– Я пьяный, да? – спросил он. – Ничего не понимаю.

– Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, – сказал я. – Я видел, как выносили ее тело.

Федька отошел от стола.

– Хорошая? – сказал он. – Красивая?

– Ты не про то, – сказал я.

– Любил? Крепко?

– Совсем не любил, – сказал я.

– Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирай.

Он скрипнул зубами и лег на постель.

А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубаху, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, сахар и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.

– Ну, а она? – сказал он.

– Кто? – сказал я.

– Сам знаешь.

Я промолчал.

– Тяжелый ты человек, – пробормотал Федька, уминая под себя подушку. – Потому что хромой. Ты думаешь – ты гордый, а ты просто тяжелый. – Он укоризненно покачал головой. – Может быть, что-нибудь передать на словах? – крикнул он. – Не молчи!

Но я все-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятерней.

– Вот что, – сказал он неожиданно. – Я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпускать. Слышишь? Я еду с тобой!

Это он говорил совершенно серьезно, даю голову на отсечение.

– Не смейши народ, Федька, – сказал я.

Он погрозил мне кулаком и снова улегся на спину. Кровать прогибалась под ним, он побряхтывал, глядя в потолок, а я вышел на кухню, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял, не вытираясь, от этого было еще прохладней и благодней. Опьянение слабело во мне, выходило через поры освеженного тела, выдыхалось постепенно, и от этого на душе становилось все лучше и лучше.

Потом я прибрал на столе, вылил старку из Лениной рюмочки, подобрал с пола обрывки бумаги, взял мешок, надел, встряхнул, чтобы он улегся на спине поспоровистей, и сказал:

– Пошли, Федька. Пора.

Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я оправил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:

– Пошли.

Мы вышли в коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик.

Федька спросил:

– Это зачем?

Я сказал:

– Для ребят. Мало ли кто зайдет, Андрюшка или Санька Гинзбург, у меня так всю жизнь.

– А может, сдать в домоуправление?

– У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.

– Ну что ж...

– Да, – сказал я, – пора. Пошли, Федька.

Мы пошли со двора. Солнце уже не палило так нещадно, и идти по теневой стороне было приятно.

– Далеко нам? – спросил Федька.

– Пять минут ходу, – сказал я.

Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актер Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьеру во что бы то ни стало при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спину перед первачами.

Зубкин шел за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка – ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.

– Далеко собрались? – молодецкато спросил он.

– Недалеко, – сказал я.

– Он уходит в ополчение, – объяснил Федька. – Сегодня. Сейчас.

– А ты, значит, его провожаешь?

– Да.

– Ну что ж, – сказал Зубкин. – Все правильно. Ты, Королёв, ведь сам просился?

– Сам, – сказал я.

– Значит, исполнилась твоя мечта.

Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта, но она не исполнилась.

Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырех часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту.

– Ну, бывай, – сказал он браво. – Желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.

Он протянул мне руку, я не взял ее. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.

– Подожди, – сказал Федька.

Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, уставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:

– Зубкин! Ты сволочь!

Мы пошли дальше.

– Он тебя съест, – сказал я Федьке.

– Подавится, – ответил он. – Не мог я себе отказать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.

– Не кипятись, – сказал я.

Мы пошли еще веселей, снова мимо нашего театра, я еще раз увидел, как смеется на афише Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоявшую в маленьком, мохнатом от зелени дворе.

Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своем пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены женами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь, и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе, и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовки отданы, судно отваливает от дебаркадера, и на берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени, и пронзительней делается боль.

Я пошел в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, разыскал свою литературу, отметил и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:

– Ступай, Королёв, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семён Семёнович. Жди во дворе команды.

И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.

Я пошел за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он был угрюмый и все время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я все думал, что во дворе много, очень много женщин, и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натерты ноги, и котелок в руке, и скоро-скоро поезд грянет, и прости-прощай, прощевай пока... Мне было непонятно ее отсутствие, но я не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не мог понять.

Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехало несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам! Второй взвод, ко мне!» Я протянул Федьке руку, и он пожал ее. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятья, я взял Федькин котелок и нацарапал на нем ножом: «На память» – и расписался. На зеленой краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька еще раз пожал мне руку, снял очки и стал их протирать углом пиджака. Я побежал строиться. Началась перекличка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожающих не было, мы сидели кто на скамейках, а кто на полу на корточках, еще не знакомые, еще не сдружившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как

поездная бригада постукивает молоточками по колесам, и доносился тихий чей-то разговор: «Отправляемся?» – «Да, с минуту осталось».

В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина... Она остановилась, держась за концы накинутаго на плечи полушалка, и поглядела темными исплаканными глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:

– Василь Сергеич, ты здесь? Отзовись!..

Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:

– Галя?

И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет. Седой человек поднял ее на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колеса тарахтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.

5

Тепло было в этом трясущемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдаленном уголке горела единственная тусклая лампочка, в полуоткрытые окна задувало прохладительным ветерком, сладко и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звезды и побежали за нами, я смотрел на них, смотрел неотрывно, и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства. И я сразу пошел с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, даже душевная боль как будто немного притупилась.

Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я вообще дьявольски устал за эти мои последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то оказалось, что прошедшие сутки не отпускают меня. Дремля и качаясь вместе с вагоном, я все звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа и исходил бессильным отчаянием и сердечной тоской.

Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало еще теплей и немного светлей. Прямо против меня, на уголышке, сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке, сверкая мощным разворотом белых плеч и бильярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырем. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной, ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, веселые, смекалистые, такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лен и Ячмень. Там была еще и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зерна, зубов. За ним – некто высокий в сером, с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ежиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много еще...

– Надо спеть, – сказал маленький человек и вздохнул, – надо спеть хорошую песню.

– Верно, – сказал сидевший в майке. – Валий, Тележка, затягивай!

Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то появились.

Маленький человек закрыл глаза.

Там вдали, за рекой
Загорались огни... —

начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колес поплыл, зазвенел тонкий качающийся голос маленького человека, запевшего первую нашу общую песню:

В небе ясном
Заря догорала...

Он перевел дыхание, получилась маленькая пауза, все мы вдохнули воздух и —

Сотня юных бойцов
(это пели уже все)

Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...

Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое поднебесье, словно задумал совсем от нас улететь, —

Из буденновских войск... —
но его удержал на земле чей-то глубокий темно-синий бас:
На разведку в поля поскакала...

И тут мы все стали смотреть на маленького человека, стали смотреть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и понукая, поощряя и прося...

Они ехали молча
В ночной тишине,
Ах, по широкой
Украинской степи...

С виду как бы совершенно спокойно повел рассказ дальше маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой неминуемы:

Вдруг вдали,
У реки,
Засверкали
Штыки,
Это белогвардейские цепи.

И тут маленький человек заторопился, он пел, захлебываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной скачки:

И без страха
Отряд наскочил
На врага!..

Теперь песня уже не гремела, она стлалась по низким волнам седого ковыля:

Он упал на траву,
Возле ног
У коня
И закрыл свои карие очи...
– Ты, конёк вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!

Слушая эту песню, я пел ее вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что ее не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь ее петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это все равно, пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, все равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь, и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И, может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.

...Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегая один на другой, буфера, и мы остановились.

Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:

– Выгружаться! На платформе повзводно стр-ройс-сь!

Один за другим мы протиснулись к выходу и попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей. Когда спрыгнул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задернули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжелые, как монеты, упали мне на плечо.

Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суетящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донесся протяжный и требовательный голос:

– Второй взвод, ко мне-е-е!

Я обрадовался этому голосу как родному и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:

– Ста-а-новись!

Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «Направо! За мной ша-гом арш!» – и мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго-заботливый голос взводного:

– Под ноги! Ноги!

Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошел мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую группу огромных ветел и вышел на мягкую, мокрую, начинающую раскисать от дождя дорогу.

Сзади кто-то сказал:

– Мы на фронте.

6

Мы шли через темную дождливую ночь по размытой вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой новенький ватник и въедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натерли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но все это была бы ерунда, если б не ноги. Еще сегодняшним далеким утром сапоги

начали свою черную работу, и они не прекращали ее ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьезному, и я понял, что мне несдобровать, что с этим делом не шутят. Я шел, не видя дороги, а ноги мои грызла страшная боль, каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и все-таки шел.

Я не знаю, сколько это продолжалось, наверно, очень долго. Темнота все сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный разрозненный шаг, и впереди иногда что-то неразборчиво выкрикивал взводный.

Наконец часа через три мы втекли в какую-то маленькую настороженную деревушку, и в рядах стало известно, что здесь мы будем ночевать.

– Да в любом сараюшке, – говорил кому-то человек (по голосу я узнал ячменную бороду. Он шел почти рядом со мной). – Сено, солома, сухо – чего еще? Отоспимся, а там дале пойдем, к месту назначения...

Я сказал голосу:

– Я с вами пойду.

Он живо откликнулся:

– А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Тележка с нами, и Лёшка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?

Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте Ячмень и Лен.

– А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.

Этот разговор очень пришелся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и все поглядывал в сторону Степана Михалыча.

Мы шли еще и еще, кружась по деревне и плутая в ее переулках, случайно набрали на колодец, услышали скрип, увидели маленький огонек, и тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло, во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, – такой я был разгоряченный, а дождем не напьюсь, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.

Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени – непонятно, такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец был обыкновенный «журавль», распоряжалась здесь молодая женщина, она опускала легкое ведро вниз, ловко перебирая руками, как будто мерялась в чирика, жестяное ведро шлепалось где-то неглубоко, и женщина подымала его вверх. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных ее глаз бежали небыстрые слезы. Мы пили из ее теплых родных рук чистую холодную воду. Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из ее рук, это была наша женщина, и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведро:

– Спасибо, мать.

Я напился воды досыта, а все стоял. Жалко было уходить. Здесь, на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые прекрасные глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издали раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:

– Ми-и-тя-я!..

Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слезы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно.

...Это был довольно большой сарай, наполовину набитый соломой, в темноте уже пахло черным хлебом, и слышно было, как возятся люди, шурша соломой и устраивая себе ночлег.

Слышно было уже сладкое позевывание с подвыванием, и звяканье отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядреный храп.

Я сказал наугад:

– Степан Михалыч?

Он как будто ждал меня.

– Митька? – отозвался он строго откуда-то слева.

– Ага, – сказал я и двинулся к нему.

– Шляешься, – сказал Степан Михалыч. – Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лёшка, пусть-ка он с тобой ляжет.

Степан Михалыч был за старшего. Все его слушались.

– Давай сюда, – сказал Лёшка.

Я пошел на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твердой колючей стеной, на нее можно было опереться. Надерганная из этой стены, она лежала подо мной, как хрустящий, роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым светом.

– Еще суток двое пройдет, пока до места доберемся, – сказал Степан Михалыч. – Есть-то хочешь, малый?

– Нет, – сказал я, – устал...

– Отдыхай, – сказал Степаныч. – Устал, так отдыхай.

Я снял с себя ватник и положил его в головы. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.

– Давай помогу, – сказал кто-то рядом, и на фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.

Я сказал:

– Не надо, я сам.

– Давай я, – сказал лежавший рядом Лёшка. – Сиди, Тележка.

Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.

Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.

– Ноги сбил, – сказал я, – стер к чертовой матери, еле дошел.

– Ноги надо беречь, за ноги солдата на губу сажают, – сказал Степан Михалыч.

– Ну и сапожищи же, – сказал Лёшка, – тут сотрешь! Как из листового железа.

– Ты, Лёшка, – опять вмешался Степан Михалыч, – ты завтра разбей ему, ведь погибнет.

– Ладно, сделаем, – сказал Лёшка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: – Парень, а ты кем?

– Маляр я, – сказал я, – в театре маляр.

– В театре? Вот интересно! – живо воскликнул Лёшка. – Там всегда интересно. Артисты... Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слезы текли?

– Брехня, – сказал я.

– А артистки красивые? – спросил Лёшка.

– Красивые.

– Все?

– Все.

– До одной?

– До одной!

– Врешь.

– Лёша, – спросил я, – а ты кем работаешь? Кто ты?

– Я разнорабочий, – сказал он, – на заводе болванки таскаю. Делу еще не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.

– Выучишься, – сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас. – Выучишься и будешь инженер или, как Тележка, – архитектор.

– Воевать нужно, – сказал Тележка. – Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик да изжога...

– Не скажи, – сказал Степан Михалыч. – Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрипи, Телега.

– Я не скриплю, – сказал Тележка. – Не в том дело. Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

– Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

– Все-то вы видите, все-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, – вздохнул Тележка. – Не вахтер с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Все про людей понимает.

– Не строй из себя, – сказал Степан Михалыч, – брось смешки. Не глупей вас.

– Да нет, я серьезно, – сказал Тележка и снова вздохнул. – Может, поспим?

– Пора, верно, – сказал Степан Михалыч. – Мить, ты что, уснул, что ли?

– Да нет, – сказал я, – нога болит.

– А ты где ее взял... эту твою... хромоту-то? – деликатно, боясь обидеть, спросил Лёшка.

– В детстве. Машиной стукнуло...

– Беда, – сказал Степан Михалыч.

– Но он ловко шкандыбает, – заступился Лёшка. – Ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось?

Он уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:

– В другой раз, Лёша. Спать охота.

Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать. Не хотелось, но оно само пошло. Все-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, я еще поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шел на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним, не только на рынок, а куда угодно, и, когда я увидел его, я помчался к нему, уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. Я отстал, и он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал посмотреть, как он свернет за угол. На улице было мало народу, я видел, как отец свернул за угол, и я стал возвращаться, а в это время из каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.

Когда отец вернулся с рынка, я уже лежал в больнице. Я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромой. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал, всегда держал меня на коленях или, если это было нельзя, старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала.

Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лёшка, обдавая меня своим молочным дыханием, за широко открытыми дверьми в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь...

Утром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше и двигались довольно бодро. Ноги мои еще болели, но Лёшка перед выходом взял у меня сапоги, долго

колотил камнем и в конце концов раздробил чугунные задники и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шел почти не страдая и чувствовал себя, как в раю. К тому же и утро было веселое: светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.

Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от нее метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной, неровной, пестрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разноперая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всем, начиная от манеры двигаться до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! И у меня снова заняла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.

Тем временем среди нас появились люди с веревками и колышками и стали натягивать эти веревки и колышки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, покуривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела еще остановиться, как из нее вырвался человек с измятым, желтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметались руки этого человека, по злому напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вел нас за собой, и, когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почуявшие ненависть, пылающую в сердце оратора, мы тоже крикнули «ура».

Подъехали грузовики, нам рбздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил ее в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дерн. Не раздеваясь, не ожидая команды, мы похватали свои лопаты и накинулись на землю. Земля сотрясалась от наших ударов. Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за ее колесами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы... Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.

Через час огромный вал свежееотрытой коричневой земли протянулся по трехверстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой неприбранной землей, и, хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем – можем, черт побери! Вот они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва, значит, дело будет доделано и сослужит свою службу.

Я захотел пить. Река была неподалеку. Низкий неказистый кустарник рос на ее берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел, сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щеки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.

– Митя, – сказал Тележка, клацая зубами. – Ты ноги сбил, а я руки натер до крови – два сапога пара.

Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах кожа.

Из-за куста вышел Степан Михалыч.

– Надо перебинтовать, – сказал он. – Не набрасывайся на лопату, не жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега...

Тележка сидел и смотрел на реку.

– Меня знобит, – сказал он.

– Ты эту воду пил?! – закричал Степан Михалыч. – Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная! Ведь она речная, зыбкая, в ней бог весть что плавает. Ведь это риск! Не смей пить! – крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук. – Привезут воды или отведут на ночевку – колодезной попьешь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?

Я прополоскал водой рот, зубы занули, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку – как он мог пить такую?

Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.

В это время к нам пришел еще один парень, я уже видел его издалека. Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щегольски одетый в галифе и ковбойку.

– Кто здесь отделенный? – спросил парень.

Мы переглянулись. У нас не было отделенного. Лёшка сказал:

– Пусть Степан Михайлович.

Парень в очках сказал:

– Норму задания будете получать на пятерых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать – Сергей. Любомиров.

Степан Михалыч сказал:

– Студент?

Парень сказал:

– Откуда вам это известно?

– По запаху чую, – улыбнулся Степан Михалыч. – Во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.

Любомиров снял свитер и обнажил желтые неширокие плечи с рельефно выступающими узкими тугими мышцами. Не торопясь, он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испеченный хлеб, ссунул эту землю позади себя.

Степан Михалыч сказал:

– Вполне.

Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперед. Наша пятерка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.

– У меня температура, – сказал он, и все мы услышали его хриплое дыханье. – У меня, наверное, не меньше тридцати восьми.

– Час от часу, – сказал Степан Михалыч. – Говорил я тебе.

Лёшка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.

– Ага, – сказал он, – можно олады печь.

– Мне бы попить, – сказал Тележка тихо.

– Терпи, – попросил его Степан Михалыч.

– У меня там фляжка, я сейчас, – сказал Серёга Любомиров и ловко выскочил наверх. – У меня есть немного кипяченой.

Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.

По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечевками бутсах. Торс его был обнажен и разукрашен разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» – литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.

Человек подошел к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.

– Доходяга, – сказал он, мотнув носом в сторону Тележки. – Фитилек. Когда догорит, отдайте мне его пайку.

– Здесь тебе не малина, – сказал Тележка. – Иди, блатной, я еще тебя переживу.

– Я не блатной, – сказал человек нагло. – Осторожней выражайтесь...

– Каторжан ты, – перебил его Степан Михалыч. – Самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.

– Ну, отделенный! – восхищенно засмеялся Лёшка. – Ведь как прилепил! Каторга – каторга и есть.

Человек на гребне, видно, не захотел скандала.

– Наплевать на вас, – сказал он презрительно. – До следующего раза!

И ушел. А к нам прыгнул вернувшийся Серёжа Любомиров. Он открыл фляжку и дал ее пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:

– Себе оставьте.

Наверху стоял Семён Семёныч Бурин – наше высшее начальство. Его привел с собой Серёжа. Бурин сказал сверху:

– Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьет эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления легких. А ну, посадите его сюда!

Мы стали подсаживать Тележку. Бурин протянул ему руку.

– Сегодня ночуешь в школе со мной – там штаб. Таблетки, то да се. Если завтра полегчает, поставлю на легкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает – отправлю в Москву.

– Полегчает, – сказал Тележка. – А что это за птица – гальюны?

– Это морское выражение, – серьезно ответил Бурин, – а по-нашему, по-пехотному, – значит отхожие места.

– Но почему же именно я? – вскинулся Тележка. – Людей мало?

– Не разговаривать, слабосильная команда! – сказал Бурин. – Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!

Он вроде бы улыбнулся, но, видно, опять спохватился, что командировать нельзя.

– Сказал и в темный лес ягненка поволок, – вяло пошутил Тележка и поплелся за ним следом.

8

Это просто удивительно – до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом: креппатура. Это случается, когда, давно не тренируемые, они вдруг сразу в один прекрасный вечер бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «креппатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно в результате ежедневной тренировки оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрал до предоставленного нам овина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре – дело не для слабеньких.

Но с ногами было худо. Утром Лёшка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно – ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопишь.

Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лёшей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце – и сна как не бывало. И я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви.

... Я нес тогда за нею цветы.

Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:

– Цветы принесите мне, ладно?

Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я, как обожженный, побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Это была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаринового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромая и спотыкаясь. Когда добрел до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав.

Я до сих пор не понимаю, что со мною случилось.

– Извините, – сказал я и схватил ее за плечи.

Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась, и я все время думал, что сейчас она вырвется, и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она надела халат и сказала:

– Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождите на улице.

Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак в лосинах, поступивший к нам не иначе как в поисках брони, артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Совершенно одуревший, я вышел на улицу. Стал ждать Валю и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:

– Перейдите на ту сторону и сверните налево...

Я опять молчаливо покорился ей, пошел на ту сторону и свернул, догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.

Дома у себя она быстро все устроила, выпила водки сама и дала выпить мне, и такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой...

Она налила еще водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, ее в общем-то противный вкус, но тут, у Вали, я пил как миленький, стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа ее в своих длинных пальцах, отошла в глубь комнаты.

– Вы мой поклонник? – сказала она.

Я сказал:

– Это какое-то не такое слово. Поклонник – это ерунда...

Она поправилась:

– Я имею в виду, ну, знаете, – театральный поклонник! Болельщик... Вам нравится смотреть меня на сцене?

– Я всегда смотрю вас.

– Я знаю... Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.

У меня застучало в висках.

– Над этим не смеются.

Она отошла еще дальше.

– Байрон был хромым... Вы знаете, о ком я говорю?..

Я встал.

– «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай...»

– Ого, – сказала она, – смотри-ка – интеллектушко! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более что, по-моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона.

– Чем же?

Она села на край дивана, рюмка все еще плескалась в ее руках. Она сказала тихо и внятно:

– Байрон тоже был красивый...

«Значит, она уже пьяная, – подумал я, – пошла чепуху городить».

Я так ей и сказал:

– Вы уже пьяная, да?

Она засмеялась, но тоже очень тихо и внятно, а потом сказала:

– Вот что: после всех ваших безумств там в театре нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.

Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выпили.

И она поцеловала меня, а я ее... Трудно про это вспоминать.

А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину, честное слово, впервые в жизни! И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю, почему. Впрочем, к чему же притворяться, – знаю. Прекрасно знаю.

Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.

В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы»...

И я любил, любил ее...

...А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Были дни, когда казалось, что мне повезло: я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиахимовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята – старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.

Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызанной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:

– Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр – полевой карьер!!!

Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим косматым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла

насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:

– Пр-р-ринять!..

Тут он сразу отскочил как ошпаренный.

В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушел с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл.

Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал – совсем пропаду.

Вале я про все это не рассказывал, она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмоскovie. Я быстро все разведal, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

И вот я зашел к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:

– Среди бела дня, могут войти, уходите...

Я сказал:

– Валя, прощай! Я послезавтра уйду в ополчение.

Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.

Она спросила:

– А как же...

Я понял.

– Там хромота не мешает.

Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:

– Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.

Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я накопил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.

...Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило, и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.

9

Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккурат-

ными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, лопаты, только лопаты, ни бадей, ни блоков, ни тачек, ничего, кроме лопат. Дерьмо это было, а не лопаты. Они гнулись от жесткого грунта, у них были плохо зашкуренные рукоятки, часто ломающиеся и занозящие наши руки. Какая беспримерная сво-лочь равнодушно подсунула нам эти лопаты? Ведь мы вышли защищать наших женщин, наших детей, нашу Москву?..

И все-таки мы держались за эти лопаты – это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплестили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов, батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку точно капельки. Это вот Киселёв, печатник, он хворый – грудь болит. Вот неутомимый шестидесятилетний бабник – аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безлика вначале, распалась для меня на сотни частичек разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому – протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного окрепли, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой, люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за все общее и при встречах, когда шли на работу, или домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга, не слыхал ли кто чего? А слыхали, конечно, часто и все больше плохое...

Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе – я заметил – говорят тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный, смертельный огонь.

10

- Орёл отдали, – сказал холодным ветреным утром Степан Михалыч.
- Да, – сказал Фролов, – прет, зараза, на Тулу... Есть сведения.
- Скоро сюда объявится, – сказал Лёшка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.

Но Серёжка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:

– Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!!

Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною потянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно яро, молча, без разговоров.

Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр. Лёшка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, видно, здесь сводили когда-то лес, а фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.

Мы с Лёшкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубить ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое, мы с Лёшкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:

– Кро-от! Давай сюда-а-а! Кро-от выкопался!!!

Мы сбежались и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижный пяточок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота, как на чудо. Лёшка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:

– Животная...

И на странное, ханское его лицо легла легкая, нежная тень.

Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота, ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал:

– Топить!

И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было расходиться.

Но Геворкян тихо сказал:

– А жаль. Крот – он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.

По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце: это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь – чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лёшка первый это понял и, хлопнув себя по бокам, закричал, повизгивая от восторга:

– Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чертова сопелка! Спасать!!! – И, в чем был, золотой наш Лёха пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытащил крота.

Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лёшка сказал строго:

– Дайте солнца!

И мы раздвинулись, чтобы крот мог отогреться.

А Лёшка снял сапоги, портки и трусы и стоял в одном ватнике, – мальчик с круглыми коленками.

Крот грелся, оживал, и все становилось на место.

Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошел и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, ухмыляясь:

– Ходи вежливо, жлобья. А то тебе выйдет боком. Я накапливаю на тебя матерьял.

Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лёшку.

11

А ночью вдруг задул северный ледящий ветер, он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло – на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.

– Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, – сказал Лёшка и вздохнул. – Чуть рассветлит – надо в деревню перебираться.

– Переведут организованно, – сказал Тележка. Он уже давно вырыл галюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.

Но Лёшка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем.

– На Бога надейся, – сказал Лёшка с мудрой улыбкой.

Деревня Щёткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полтора. Мы жили в ее гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они – сами по себе. Знали только, что стоит Щёткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щёткина, как бы затыльная, заречная его часть.

В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые недобрые тучи всползали на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле.

– Сходим постучимся, – сказал Лёшка. – Чем зябнуть, все лучше.

Он двинулся к двери. Я пошел за ним.

– А ты посиди, – сказал Лёшка, не оглядываясь, – чего тебе-то. Я все сделаю.

– Я с тобой, – сказал я.

Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темновато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как невымытая ладонь, вся какая-то пустая. Безрадостно было идти по ее неприветным улицам.

Дома были какие-то полуслепые, и по Лёшкиной походке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.

– Пойдем туда, за речку, через мост, – сказал он.

Мы спустились и пошли через мостик, ветхий, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, потом поднялись в гору. Здесь у домов не было даже палисадников, ограды дворов сплетены черт знает из чего – из веток, из палок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесинок, хвороста и прочего барахла.

– Бедность, – сказал Лёшка пригорюнившимся голосом. – Бедность, куда там. Толкаемся сюда?

Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся набок крыши, похожий на больного человека, которому уже трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый огонек; видно, хозяйка встала спозаранку и теперь растапливала печь.

Лёшка взошел на крылечко и постучал. Дверь открылась. Лёшка сказал:

– Баушк, мы хотим у тебя ночевать.

Она сказала:

– А вас сколько?

Лёшка сказал:

– Ну, пятеро! Не замерзать же в сарае!

– Вы московские, что ль, ополченцы?

– Ну да.

– Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватей нету.

– Мы на полу, что вы, баушк.

– Было бы тепло, – сказал я.

– Топить-то мы топим...

– И мы когда дров притащим, – сказал я.

– Мы каждый день будем таскать, – сказал Лёшка. – Ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, баушк.

– Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.

– Мы очень хорошие, – сказал Лёшка. – Мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.

– Деньги – это не надо, – сказала она. – Стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько – пять душ!

– В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?

– Это-то верно, – сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе.

А Лёшка пошел с козыря:

– Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.

– А когда придете-то? – сказала она. – Я полы вымою. А так у меня мальчик, Васька, есть, ему если только сахарку, а внучек нет никаких...

– Мы вечером придем, – сказал Лёшка. – Вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придем.

– Ну, я буду в ожидании, – сказала старуха и протянула Лёшке руку, – ребята вы больно участливые.

– До свиданья, – сказал я.

– Спасибо, баушк, – заключил Лёшка.

– Да не зови ты меня баушкой, – вдруг встрепенулась старуха. – Какая я баушка, я хозяйка, а не баушка. Это я неприбранная, утрешняя, вот тебе и мнится все баушка. Я еще хоть куда!

Она улыбнулась тихо и несмело.

– Вы зовите меня теткой Груней, – сказала она, вдруг повеселев. – Ну, а вас как?

Мы назвали её поочередно, и она сказала:

– Очень приятно...

Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:

– До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.

Лёшка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели.

– Сдохну! – закричал он. – Сейчас лопну! Ой, перестань!

– Что с вами, баушк? – сказал я.

– Замолчи! – орал Лёшка. – Умру! Я, говорит, еще хоть куда!

– Я вас не понимаю, баушк.

– Перестань! – застонал Лёшка. – Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб вышло, понял, нет?

– Понял, баушк.

– Ой! – И Лёшка снова схватился за живот.

Наконец, отдышавшись, мы пошли с ним дальше.

– Устроились все же, – сказал Лёшка. – Теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмем Серёжку, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме: второе отделение второго взвода – и ура.

Я сказал:

– Надо бы Геворкяна к нам и еще казаха.

– Ага, – сказал Лёшка, – обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, забыл фамилию...

– Киселёв, – сказал я.

– Во-во. Его, – сказал Лёшка. – И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомяка.

– Давай, давай, – сказал я, – будем жить в одном доме тыща человек.

– А хорошо бы, – засмеялся Лёшка. – Я согласен. Гляди-ка!

Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и, видно, бревна были увязаны ладно, по-хозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:

– Р-разом! Давай! Ну, господа бога, давай же!

Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лёшка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Алёнушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший ее у ручья, наверно, не знал ее дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Алёнушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хрипловато и дерзко:

– Давай, помогай, кавалеры!

Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ставили, я видел рядом со своей Алёнушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Алёнушка кричала что-то дикое и устрашающее.

Потом она поправила волосы и сказала:

– Ай да мужики! Что значит мужики-то... Плохо бабам без мужиков!

Лёшка сказал строго:

– Тебе сколько лет?

Она удивилась.

– А тебе на кой?

– Больно ругаться здорова. Не дело.

Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:

– Это я без души и мысли. От тяжести. А тебе не нравится – вали отсюда.

Я сказал:

– Как вас зовут?

Она обернулась и посмотрела недоверчиво.

– Дуня. Табариновы мы.

Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую, маленькую ручку.

Я сказал:

– Мы теперь у тети Груни будем жить.

– За речкой?

– Да.

– Там тише...

– Вот и хорошо.

– Кто как любит...

– Верно.

– Ну что ж. Спасибо.

Она взялась за вожжи.

– Не стоит, что вы. Увидимся?

Она снова посмотрела удивленно.

– А у вас есть желание?

– Есть.

Она ответила:

– Было бы желание, а там, бог даст, увидимся...

Она задержала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умильным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лёшка, и, наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лёшка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:

– Ну? Ты что? Окаменел, что ли?

12

Как только мы с Лёшкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:

– Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно, холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры – это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежедневно до пяти. Обед – час. Много. Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прёт, бл...га. Так что надеюсь на вас.

Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ – результат обстановки на фронте, этот приказ идет сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока еще ничего нет хорошего после трех месяцев войны.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, без газет, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать – только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч послышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. В

перекур мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра, и, когда отошел, – мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.

– Хоть бы по винтовке дали, в случае чего, – сказал Лёшка.

– Да, лопата не стрелит, – поддержал его Горшков, беззубый плотник с «Борца».

Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Серёжа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.

– Ах, черт его раздери. – Он весь затрясся и стал растирать себе шею. – Это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

– У армии есть оружие, – сказал Степан Михалыч. – Не робь, Серёга!

– Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! – Серёжа кричал как безумный. Ой поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. – Вот она, – кричал он, срываясь и захлебываясь. – Вот она, лопатка, старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!

– Все сгодится, – снова сказал Степан Михалыч и покачал головой. – На этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танк или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Серёжка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.

Серёжка снова прыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул, как ножом, деревья завyli и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я все время думал, что Серёжка тысячу раз прав.

А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.

– Давай, Мотя, – негромко сказал он. – Послушаем наши дела...

Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это все мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И все это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про Гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять...

– «В деревне Дворики, – читал Мотя, – фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрену Валуеву...»

– Громче! Не слышно... – перебил Мотью Каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках.

Мотья замолчал и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.

– Врут это, – снова сказал Каторга, глумясь. – Один на один не изнасилуешь!

Я обошел Лёшку, пройдя перед Бибриком и Киселёвым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.

– Ну все! – торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесемку крови. Он все еще отступал, словно для разбега. – Уж пошутить нельзя человеку! – крикнул он надрывно. – Шутки не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь все! – Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. – Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!

Каторга выхватил нож и, горлопая и матерясь, стал исполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал, и красовался, и рвал на себе рубашку, и все время напоминал мне о прощальном письме к мамаше.

Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и снова дал ему изо всех сил. Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым своим ножом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошел на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить.

Я видел, как рвется к нему Лёшка. Но Байсеитов остановил Лёшку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшной волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.

– Читай, Мотя, дальше, – тихо сказал Степан Михалыч.

И Мотя стал читать дальше.

13

Наш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал «Бей» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.

Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале:

Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами, и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны, как говорили индейцы моего детства, и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу, в пятистах боях, я пойду в пятьсот первый. Я пойду несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, нельзя молчать, а ты вот меня любишь – значит – тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до нее, я вернусь домой живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.

Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного, четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив...

Если бы ты написала мне! Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.

Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему.

– Вейсман, – сказал я, – хотите иметь слугу и раба?
– А на хрена? – сказал Вейсман. – Что я – барон?
– Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.
Он поскреб в затылке и сказал:
– Если дело любовное, то я постараюсь.
– Любовное, – сказал я, – не беспокойтесь.
– Красивая? – спросил Вейсман, и в глазах его зажглись недобрые огоньки.
– Ну, – сказал я, – вы таких и не видали.
– Почему ты знаешь, что я видал и чего не видал?.. – Он посмотрел на меня с превосходством. – Я такое видел в этом смысле, что тебе и не снилось... Так красивая, говоришь?
– Да, – сказал я твердо, – красивая!
– Приложим усилия, – сказал Вейсман важно, как президент. – Только бы не подвели с обратной машиной. Готовсь, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!
И он сунул мое письмо в карман, как суют измятый носовой платок.

14

Этот собачий пень портил нам с Лёшкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневища лопатой было очень трудно. Лёшка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продыряться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и вдоль и поперек, и внутри тоже. Согревался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди, и тетка эта, и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться, две-три раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки – вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:

– Бей фрица, и больше ничего!

И уходил, прямой, с чахлой бородой, ну пророк и пророк.

Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе, – словом, все, как полагается...

Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлебца и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери, – делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались, чтоб не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Алёнушку, Дуню Табарину, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка с красными, ознобленными руками.

В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдешь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево – шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем! Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы...

...Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрыть его еще немного. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лёшка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Серёжкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим Берендеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошел. Он наклонился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабаный бок и подпихивая его. В двух шагах под пнем, спиной к нему, стоял на четвереньках Лёшка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую, он понесется вниз стремглав, страшный, как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лёшка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул:

– Лёшка! В сторону! Берегись!

Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал.

А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лёшка подбежал ко мне. Он сказал:

– Сломал?

Я сказал:

– Не знаю.

Вокруг уже собралось много народу. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.

– Нет, – сказал он, – не сломал, нет.

– Растяжение, – сказал Тележка.

– Вывих...

– Теперь тебя отправят...

– Не работник, ясно.

Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, каркнул:

– Это он сам над собой сделал, самострел клятый...

Лёшка погрозил ему кулаком.

– Позовите Сёму, – сказал Байсеитов.

Серёжа Любомиров сказал:

– Сейчас.

Но кто-то уже вел Сёму. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклейщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.

– Ну-ка, – сказал Сёма, – покажь.

Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.

– Этот палец, – сказал Сёма важно, – этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.

Лёшка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лёшкино сердце. Сёма взял мою руку и сказал убаюкивающе:

– Закрой глаза.

Я закрыл, но не сдержался. А Сёма сказал, отходя:

– А зачем орешь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.

Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклейщик. Палец хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!

Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:

– Это как же вышло?

Я рассказал ему. Он рассердился.

– Испугался, значит, за дружка?

– Да.

– Он бы сам отбег. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!

Я сказал:

– Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичёва?

– Брось, – сказал он жестко. – Не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нервы. – Это он в насмешку так сказал – «нервы» и покривил едко губы. – Но завтра выходи на трассу! Не сможешь – отправлю. Иди.

Он отвернулся. Ишь ты, какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нервы». Я шел от него, проклиная все на свете.

15

– Здравствуйте. Что не на работе?

Она окликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина, злой как черт. Я шел к нам в избу, к тетке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте; если честно подходить – они и пятки ее не стоили.

Я сказал:

– Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец...

Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня – это ландыш.

– Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.

– Ну да, – сказала она заботливо. – Зайдем-ка до нас.

Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской, видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая, я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.

– Садитесь, – сказала Дуня, – я сейчас.

Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила – ноги слона и торс юной балерины, и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой, и неслыханной красоты лицо – все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно.

- Вы сами московский будете? – спросила Дуня.
- Московский.
- С матерью живете?
- Один.
- Что так?
- Она умерла.
- Ах ты... давно?
- Год уже...
- Отчего она, бедная?
- У нее болезнь была... тяжелая... Она в больнице лежала.
- В больнице?
- Да.
- Плохо в больнице лежать...
- Это все от людей, какие люди...

Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:

– Я один раз был у нее в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый... Ему все можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел, и дожидаясь очереди, и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший»... Слышите, Дуня? «Любезнейший» – в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?

– За этим словом стоит, что доктор сволочь, – сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.

Я вообще не очень-то любимым стал в последнее время, но, странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно – можно, она меня поймет так, как я хочу быть понятым.

– Ну, а дальше-то что? – поторопила меня Дуня.

Я сказал:

– Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.

– Это что ж за исход такой? – спросила Дуня.

– Летальный? Это смерть. От слова Лета – река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно, и, видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило...

– Как это все тяжело и прискорбно, – грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: – А батя ваш где?

Я сказал:

- Отец погиб на Хасане. Он герой.
- О господи, – сказала Дуня. – Значит, вы сирота?

Я сказал:

– Да.

Она задумалась.

– Круглый, значит, сирота. – Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнеешего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: – Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?

– С двадцать второго. А вы с какого?

– Угадайте.

– С двадцать второго.

– Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?

Она обиделась. Вот история! Я сказал:

– Ну, с двадцать третьего.

Она сказала недовольно:

– Конечно, теперь будете перебирать по одному.

– Я не умею угадывать!

Она улыбнулась.

– Молодой еще.

Я сказал:

– Так с какого же вы, Дуня?

Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:

– Я с двадцать четвертого!

– Ну да? – сказал я. – Значит, вы маленькая?

– Семнадцать годов – маленькая?

– Ну, не грудная, конечно, но все-таки маленькая. Очень молодая...

– Самые года.

Я сказал:

– Конечно! Невеста!

– Не смейтесь!

– Нет, – сказал я, – я не смеюсь. А сватались? Только честно!

Она притворно зевнула:

– Глупости все это. Учиться надо.

– А на кого?

– Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.

– Хорошее дело, – сказал я. – Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.

Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.

– Вот вам и надо сто ребят завести своих. А вы холостой?

– Да... Я холостой...

– Что это вы как будто сомневаетесь... Может, неправда?

– Нет, нет, что вы. Я холостой.

– И никого нету?

– Где?

– Ну, на примете.

– Ох, так нельзя.

– Почему же?

– Ну, нельзя... А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?

– Я?

– Да. Вы.

– Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если бы я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела...

– От кого?

– От вас. Да что вы все на меня-то повернули?..

– Я не сворачивал... Дуня, мне, пожалуй, идти надо...

– Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.

– А про что?

– Да про что хотите, мне все интересно. Хоть про книжки...

– Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?

– Я? Много кой-чего... Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята» – много вообще... «Железный поток»... Это Станюковича...

– Серафимовича...

– Ой да, Серафимовича...

– Ну а что больше всего понравилось?

– «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная... Я всегда слезами обливаюсь, как она с сыночком своим виделась. Несчастная Аннушка, красавица, а несчастная.

Я сказал:

– Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.

– Нет, – живо сказала Дуня, – это хоть и книжка и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это все про жизнь.

– Дуня, – сказал я, – Дуня, ты просто я не знаю какая!

Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.

– Понравилась? – сказала она.

У нее было радостное лицо.

– Выше макушки, – сказал я с таким видом, что шучу.

– Сватайся! – сказала она.

Я сказал, но не сразу:

– Война.

– Да, – задумчиво сказала она, опустив руки, – война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.

– Это как? – У меня забилося сердце.

– Так. Привезут знамя – и под присягу, и все. И на фронт.

– Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?

– Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?

– Слаще, чем здесь.

Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:

– А кто же с нами будет? С бабами и с девками да с малыми ребятами? Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит; разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты... А где мои папаны с братом? А, вот то-то... Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок, все с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так шуганет, что я и костей не соберу! Вот... А вы все на фронт тянетесь, души у вас нет...

Она с досадой задернула марлевую занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.

– Осерчал? – сказала она тихо.

– Нет, – сказал я, – и несколько.

16

Никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого еще ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале – внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня... Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину, и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы и прильнув друг к другу, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство... Какой это роман.

...В избе у тети Груни было пусто и неуютно, я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченческий запах, воздух был синий от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахара, они лежали у меня в кармане – я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахара, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошел ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог.

– Ты, Митька, всегда носи мне сахару, – сказал он.

– Ладно, – сказал я, – а где мама?

– Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки, поднял эти полфунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклокоченную головенку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставляю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, – не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других, таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заняла гордость, и долг застучал кулаком в сердце.

За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проваландался с пальчиком, как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и устоялся на меня. Я сказал:

– Большая приборка! Свистать всех наверх! Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!

И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу он знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугунок воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стучался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригласил

дил всклокоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним вообще подружились. Я решил прилечь и подождать, уложил Ваську на кровать, а сам лег на солому и, как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лёшка укладывался со мною рядом.

– Это ты, Лёшка?

– Ага, – сказал Лёшка, – болит рука-то?

– Утихает...

– Что ж ты не ужинал?

– Проспал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.